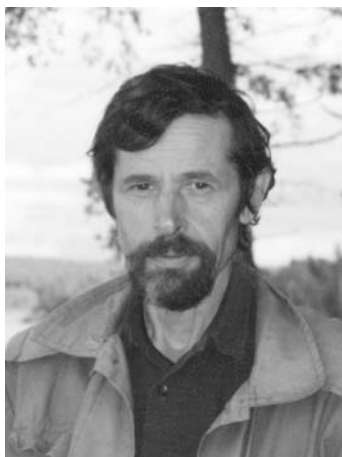


ПЁТР СТОЛПОВСКИЙ



ВСЕХ ОБХИТРИЛ

РАССКАЗ

Ни у кого в деревне не было такого легкого да красивого лукошка, какое изладил Ванюшке дед Осип. Сплел он его не из веток, как обычно делают, а из тонких и длинных ивовых корешков. Их можно набрать по сыпучим берегам Вычегды после бурливого водопада. Вышло лукошко с яркими поясками цветными, с косицами причудными, с ручкой витой, доньшком надежным.

— Не то красу этакую по грибы берут? — всплеснула руками Ванюшкина мама. — Ей самое место в музее нашем сельском, чтоб все любовались-дивовались.

Деду Осипу лобо похвалу слушать, хоть и виду не подает. Однако ж глаза его лучики-морщинки пустили, будто ласточкины хвостики.

— Скачи в лес, внучек, — сказал он. — Чтоб одни белые домой носил.

После дождичков парных солнышко на землю глянуло. Самое грибное время. Подхватил Ванюшка новую корзинку и побежал в ближний бор. А красотища там! Под ногами — шелковый ягельный ковер, над головой — зеленое море хвойное, а еще выше — глыб голубая, не мерянная. Птицы поют-заливаются, и Ванюшка тоже поет, слова сами собой выдумываются, будто птахи из клетки выпархивают:

СТОЛПОВСКИЙ Пётр Митрофанович родился в 1943 году в Сибири. Окончил Коми педагогический институт. Работал журналистом, редактором. С 1999 года — директор Коми издательства. Автор книг прозы, в том числе детских. Член Союза писателей СССР с 1982 года. Заслуженный работник культуры Республики Коми. Живет в Сыктывкаре.

*Старичок Боровичок,
Ты не прячься за пенек!
Ты со мной поговори,
Свою шляпу подари.*

Ни дать ни взять песенка-приманка вышла.

Глядь, из-за дряхлого пня коричневая шляпа выглядывает.

— Это дедушке Осипу! — обрадовался Ванюшка.

Положил гриб в лукошко, только дальше двинулся, песенку-приманку завел, а под молодой сосенкой еще шляпа мелькнула.

— Это маме!

Третий боровик-баловник чуть не на тропку выбежал — любопытен больно.

— Это папе...

Через час лукошко потяжелело, прямо руки обрывает. Да еще солнце раскалилось, палит немилосердно, терпенья нет. Луговину переходил — оводы, как на грех, увязались, донимать стали.

“В соседний борок схожу, и будет нынче, — решил Ванюшка. — Только вот лукошко...”

И тут он придумал: пусть лукошко вон на той полянке его подождет, пока он борок обегает. Грибы-то, коль попадутся, и в курточку можно собрать.

Но как оставить на виду красивый дедушкин подарок? Случись грибку пройти — враз сохнет! Нет уж, лучше в валежнике спрятать.

Схоронил Ванюшка корзинку в старой лесной завали, отошел, оглянулся — нет, край виднеется, как есть украдут. Надо так спрятать, чтоб всех перехитрить.

Думал, думал и отнес лукошко подальше от тропки, в густые вересковые заросли. Посмотрел со стороны — все ж таки краешек чуть заметен. Наломал сосновых лапок, лукошко ими накрыл. Теперь порядок! В двух шагах пройдут, не заметят.

Поскакал Ванюшка в соседний борок. Только там ни одного боровика не встретил, одни козяки червивые. Словно расхотелось грибам в прятки играть.

— Ну и не надо, — осерчал Ванюшка. — У меня и так почти полное лукошко набралось.

Только где оно, лукошко? Как сквозь землю провалилось! Весь бор избегал, на всех полянах побывал, вересковые кущи обшарил — нет как нет. Он, пострел, к вечеру только воротился с пустыми руками. И стыдно, и обидно, хоть плачь.

Дед Осип выслушал печальный Ванюшкин рассказ, грустно усмехнулся в белую бороду и сказал:

— Хитрил ты, внучек, хитрил да себя обхитрил. Наперед тебе наука: кто людям не доверяет, тот много теряет.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ГРУША

РАССКАЗ

Два мужика соседствовали. Один веселый, все бы он песенки под нос себе мурлыкал да на солнышко шурился. Что ни случись, ему и горе не беда. Другой сосед — не улыба, сентябрем на белый свет глядит, хмурится-косоурится да покрывает недовольно. Все кругом не по нем: дождик с утра — худо, солнце жарит — опять же неладно. И огурец нынче какой-то кривоватый, и морковка на грядке не косматая, и репа не задалась, молоко от коровенки не шибко белое, пчелы пошли ленивые.

У веселого и хмурого подворья — бок о бок, межой разделенные. А на меже старая груша растет. Чтоб не случилось меж соседями спору да раздору, порешили они считать эту грушу общей — на двух хозяев то бишь. Вместе ее от лихой детворы охраняли, вместе и урожай снимали, поровну делили.

Все бы ничего, только вот у груши одна ветка стала как-то чудно расти, будто руку неловко оттопырила. Оттопырила да и тянет ее, и тянет вдоль межи. Хмурый выйдет на крыльцо, глянет на ветку несуразную и крикнет досадливо.

— Как-то она, понимаешь, неправильно растет, — скажет бранчливо. — Нехорошо, понимаешь, раскорячилась.

— А чего нехорошо-то? — улыбается веселый сосед. — Как ей нравится, так пушай и корячится.

Ветка ж неправильная все дальше оттопыривается, норовит в соседский амбар уткнуться. Выйдет хмурый, глянет пасмурно и пуще крикнет:

— Вот ведь нахрапистая какая! Отпилить ее, понимаешь, и вся недолга.

— На кой пилить-то? — удивляется веселый сосед. — Не то уж мешает кому?

— Глаз, понимаешь, мозолит.

И до того ветка глаз намозолила хмурому соседу, что глядеть ему стало невмочь на этакое уродство. Кряхтел он, кряхтел и не стерпел. Как веселый отлучился из дому, он взял пилку и полез на грушу. Да неловко, видать, лез — сверзился с верхотуры. И так он, бедный, оземь хрястнулся, что ногу в голени сломал. Беда.

Залезили ему, стало быть, ногу гипсом, вовсе сосед пасмурным сделался, того гляди от злости по шву треснет. Кряхтит, на белый свет волком глядит, а на грушу зловердную так прямо рычит, слова для нее обидные подбирает.

Сосед же знай улыбается, деньком веселым упивается.

— Чего ты, право слово, серчаешь на нее?

— Неправильная груша, понимаешь, терпеть уродку эту не могу, — злобится хмурый. — Как из гипса вылезу, как есть отпилю.

А тут снова беда к нему в ворота: кость, сказали, неловко срослась. Ногу-то вдругорядь — хряп, да в новый гипсовый сапог заковали. Сосед с того дня — туча грозовая. Он и спит — все одно кряхтит, словно рыкает, на белый свет ярится.

Ветка ж неправильная тем временем зацвела. Да так пышно, что прохожие с улицы заглядывались, как она белым цветом взялась. В избах от такой кипени — вешний дух благоуханный. А ближе к осени на ветке-уродке груши налились. Отяжелела она, наклонилась. Веселый сосед выйдет на подворье, пощурится на солнышко, а груши так ему в рот и просятся. Подойдет, сорвет одну, отведает. Ну, чисто мед! Веселый причмокивает лакомо, хмурому улыбается:

— Здорово живешь, сосед! Чай, выздоравливаешь?

ДУРАКИ

РАССКАЗ

Лето наше северное куцехвостое да прыткое. Круть-верть, глядь-поглядь, а уж его не догнать — катится на убыль. Доставай лукошко, ступай по ягоду черничку. Либо в низины поречные за черной смородиной отправляйся. А там, глядишь, брусника соком нальется, клюква на кочках зардеется.

Опось Вась так и сделал. Сунул за пазуху хлеба краюху, сальца в тряпицу завернул, в лукошко маленький котелок бросил — чайком душистым

нутро ополоснуть — и пошагал в парму за черникой. Только жидковато нынче ягода уродилась — редкая, мелкая да и не больно сладкая. Замучишься ягоду такую щипать. Видно, весной рядом с деревней заморозок полосой дохнул, цвет черничный посшибал — у нас такое частенько бывает.

Не поленился Опонь Вась, двинул напрямки через парму. Знал он местечко заветное, высокое, куда холода не враз добираются. Часа два тропку-вилкойку на сапоги наматывал. Но и не пожалел потом: хороша черничка на увале, ступить некуда.

Мужик день до вечера внаклонку бродил, умаялся, запозднился, а своего добился: как и загадал, полное лукошко накидал. А ночи-то белые открывались, отсеребрились. Неуютно в парме после заката. Что за нужда впотьмушках сапогами шарить, спотыкаться? Поразмыслил Опонь Вась и решил заночевать в старой охотничьей избушке, а рано поутру домой двигать. Знал он эту избушку на берегу лесной речки, не раз в ней бывал-ночевал.

Нашел он ее без особых хлопот, до темна уложился. Каменку топить не стал — теплынь на дворе. Костерок у входа запалил, остатний хлебушек с салцем приел, сидит, душистый чай из кружки потягивает. Глядь, вроде на тропе кто-то показался. К костерку подходит.

— Ох, умаялся, — говорит человек. — Не помешаю?

— Никак ты мне не помешаешь, — Опонь Вась отвечает. — Даже наоборот: будет с кем словом перекинуться.

— Вот и ладно, вот и перекинемся. — Человек лукошко свое у костра ставит. — Пошел было харюса подергать, а он — ну ни в какую! Хотя ты ему что под нос подбрасывай! Хорошо, корзинку на всякий случай прихватил, так черной смородины набрал.

— А я вот чернички нащипал, — Опонь Вась на свое лукошко кивает, сам к харюзятнику приглядывается. — Чтой-то я не знаю тебя, мил человек.

— Из такой-то деревни я, — говорит тот. — Микулом зовут.

— Ну-у. Я-то совсем с другой стороны пришел, — Опонь Вась деревню свою называет.

Харюзятник тех же середовых лет, что и Опонь Вась. Длинный, тощий, видать, ходок добрый. Сидят они у костерка, чаек попивают, о том о сем калякают. Опонь Вась нет-нет да глянет на Микулову корзинку. Черника, сам себе думает, дело хорошее, а кабы еще смородинки пригоршни две-три, во-все б добро было.

Микул же из кружки отхлебнет, блаженно вздохнет, на небо звездное глянет. На небо глянет да лукошко Опонь Вася взглядом зацепит. “Оно конечно, — размышляет, — смородину с сахарком прокрутить, так всю зиму запашистый чай пить. А чернички маленько набрать — гостинец жене да ребяткам был бы”.

Ну, начавничались, пора на покой. Нары в избушке широкие, места хватает. Укутались ягодники от настырного комарья и задали храпака. Опонь Вась, должно, чаю перешил, встал среди ночи. А лукошки у дверей стоят. И в одной ягода черная, и в другой черная — не различишь. Только Опонь Вась не обознается, ручка на его корзинке красной лентой обмотана для крепости. Глянул на Микула — без задних ног спит, убродился бедный в поречных завалах да кочкарнике.

“А что, правда, — Опонь Вась думает, — век мы с ним не виделись и еще столько ж не увидимся”.

Взял да отсыпал три пригоршни смородины из Микуловой корзины в свою. А из своей столько же черники в смородину бухнул. Да и лег досыпать. Ни у того, ни у другого не убьло, делов-то!

Длинноногий Микул хорошо спал, разочка не ворохнулся, а чуть свет проснулся. От речки еще туман поднимался. Слез тихонько с нар, чтоб соседу не мешать, потянулся сладко. Взял свое лукошко, хотел было за порог шагнуть, да подивился, на корзины в сумерках глядя: и в одной черно, и в другой черно — захочешь, так не отличишь.

“Все ж таки не помешаает ребяткам гостинец”, — подумал Микул.

Подумал этак да и пересыпал пригоршню из соседовой корзины в свою. Еще подумал и еще пригоршню переправил. А там и третью прихватил для

ладного счету. Так вот и выгреб он у соседа свою же смородину. Взамен он из своей корзины столько ж убавил, чтоб совесть свою не язвить. Откуда ему знать, что чернику вернул Опонь Васю?

Притворил Микул дверь избушки и пошagal скоренько по тропке. Турманным утречком упруго, свежо шагается ему на долгих ногах.

Часу не прошло, Опонь Вась проснулся. Микула нет, стало быть, не углядел подмены. Вот и ладно. Подхватил лукошко с красной ручкой и потопал в свою сторону. Утро путников любит.

На раскидистой березе старая ворона сидит, шею вслед ходоку тянет.

— Дур-раки! — голосом противным кричит. — Дур-раки!

Она хоть и вредная птица, но, видать, с понятием.

СЕМЬ ВЕРСТ ПРАВДЫ

РАССКАЗ

Старичок белобородый в деревне нашей был, Митричем звали.

— Умственный человек, чего уж там, — говаривали про него.

Уважительно вроде скажут, а все ж таки с усмешкой легонькой, нечаянной как бы. Умен-то, мол, умен, да не нам на ум-разум рот разевать, у нас-де у самих его — не огребешься.

Оно конечно. Как говорится, Фома не купит ума, свой продает. В старопрежние времена Митричей таких, поди, мудрецами почитали, а нынче кто в ней, в мудрости, добро видит?.. Ну, речь не о том.

За Митричем, сказать правду, водилась одна чудачинка: все-то он слово свое в присловье да в загадку обряжал. Иной послушает его бауток, рукой махнет: опять, мол, загнул околесную, все бы он пустое балабонил. Досадно, видишь, человеку, что не всякое дедово слово с лету уразумеешь.

А ведь не бывало у Митрича пустопорожного слова, по себе знаю. Потому как и мне он однажды задал загадку, да такую, что на всю жизнь разгадывать хватило.

Был я на ту пору ногами скор, языком востер, страсть как любил пересмешничать.

— Дедушка Митрич, — спрашиваю, у самого в глазах бесята в лапту играют, — что лучше — брито или стрижено?

Митрич на завалинке сидит, старые кости изработанные на солнышке греет, ноги в сношенных валенках нежит. Улыбается мне, белую бороду ладонью оглаживает.

— Намедни я овечку Малашку остриг, дак это хорошо, — отвечает. — А когда тебя во солдаты забреют, тогда ты, выюн, и без меня смекнешь, где добро ночует, а где худо кукует.

Я с ноги на ногу переминаюсь, и улыбка у меня, надо думать, криворотая получается. Митрич же поласкал меня взглядом хитроватым и говорит:

— А вот и я тебе заковырку-растопырку припас. Раскуси-ка, оголец: чем больше из нее берешь, тем больше она становится. Ну-ка?

Приздумался я, нога об ногу почесывая. Ноги мои в цыпках — страшно глянуть. Мать взялась было сметаной их выводить, да не тут-то было. Цыпок-то куда как больше, чем сметаны в годы те голодные, послевоенные. Но хоть брюхо у меня и тощее, да голова не порожняя.

— Яма! — выпалил я дедушке Митричу и засмеялся счастливо. — Вот и вся твоя заковырка-растопырка!

Дедушка Митрич тоже в бороду свою поусмеялся, головой покачал. Порадовался, значит, смекалистой головешке моей. Потом вздохнул коротко, по-стариковски, говорит:

— Того и хитра она, заковырка моя, что семь верст правды в ней. Ты,

выюн, из тех верст пядень покуда вымерял, а уж спешишь языком своим. Язык не посох, ты его вперед ума не пушай.

Мне от тех слов, прямо сказать, обидно сделалось. Вот уж, думаю себе, вредный де! Загадка я, по всем приметам, верно отгадал, он же признать того не желает. А еще старый...

Время никого не дожидается: тик-так, трюх-плюх — поспевай, не зевай. Я за ним, за времечком, спешил-торопился, иной раз по пять дел в руки хватал, а все одно не успевал. Никак его не ухватишь, время-то, протекает водницей сквозь пальцы, хоть ты что! Они ведь, часы-минутки, никогда не бывают настоящими: либо они прошедшие, либо будущие, вот где загвоздка.

Но как бы ни спешил я жизнь свою потратить безоглядно, все ж иной раз вспомнится загадка дедушки Митрича. Поразмысли над ней и снова подосаду: если не яма, так что ж еще? Нету больше ничего такого-этакого, чтоб увеличивалось в размерах, когда из него берут да берут. Нету, и все тут! Пожадничал старикан на похвальное слово, вроде того что один он умный был на всю нашу глупую деревню.

Это я сам себе так думал. Только ведь ум наш хитро устроен: другим рядом другие мысли в нем текут, только не всяк их в расчет берет. Этим другим умом я понимал, что есть, есть тут “такое-этакое”, только докопаться до него не могу.

Уж трудны так трудны семь верст правды. Не ногами их одолевают, не колесами меряют.

Поизмотали меня страсти-напасти жизненные, а вроде особо-то и не на что оглянуться. Словно не жил, а продирался сквозь дикое дурнолесье, через терновник-дерябник, следа за собой не оставляя. И крепко стало это меня мучить, потому как знал я к тому времени, отчего такое бывает.

Оттого жизнь человеческая пустой бочкой гремит-катится, что души ей недостает — вот что я знал. Без души хоть десять дел в руки хватай — не будет добра ни себе, ни людям. Дни-денечки без души не проходят, они все равно что прогорают, даже дыма не оставляют.

Легко говорится, трудно вершится. Много я передумал, многим переболел, перемучился, сам себе разонравился. Ну, прям с души воротит, как в зеркало на образину свою гляну, хоть не расчесывайся по утрам...

Мало-помалу, а все ж таки дни мои другим руслом потекли. Душа — не тело, душой полезно бывает болеть-мучиться. Перестал я на белый свет пустыми глазами хлопать, стал в него всматриваться. Да в себя самого не забывал заглянуть, душу начал блюсти, как умел. И нашлось в ней много того, чем и с другими не совестно было поделиться. Вот ведь чудо чудное: после щедрот таких ничуть не скудела душа, а словно шире и светлей делалась.

“Господи! — подумал я однажды. — Да какая ж это к лешему яма?! Не яма это, а душа! Она, душа наша, больше становится, когда из нее берешь да людям отдаешь. Ах, Митрич, ах, хитрец-мудрец, царство тебе!..”

Время, оно никого не дожидается... Я это к тому, что борода уж побелела, ноги к непогоде ломит — терпенья нет, старыми валенцами только и спасаюсь. Внуки как на дрожжах выросли, последний давно с колен сполз, теперь, понимаешь, в лицей свой ходит при галстукке. Ученый, как же! Не то что мы, сиволапые — щи лаптем хлебали, онучей утирались... Ну, это так... пустое ворчание — по стариковскому праву, вроде. Хорошие ребята растут.

Вот он: из лица прибежал, сумку с книжками на диван хлоп, кусок хлеба хватать — и в двери.

— Деда, у меня коллоквиум предолимпийский!

— Чего-чего?!

— Ну, по истории. Долго объяснять, все равно не поймешь. Пока!

Ах ты!.. Я его за рубашонку-то цоп!

— Стой, выюн, и не трепыхайся! Ну-ка, ученый-мученый, раскуси мою заковырку-растопырку. Что это будет: чем больше из нее берешь, тем больше она становится?

— М-м-м, — задумался внук, в потолок глядячи. — А, знаю: это яма!

Прям разобидел он меня, торопыга. Вылитый я, забодай его комар!

— Ну, деда, пусти, некогда.

— Ишь ты, пусти его, — посмеиваюсь. — А не помойная ли твоя яма? Ты, выюн, языком поперед ума не рыскай. Потому она и заковырка, что до разгадки семь верст правды надо вымерять.

— Семь километров четыреста двадцать метров, — шустро сосчитал внук и улыбнулся мне этак покровительственно.

Я вздохнул:

— Нет, внучек, не километров. Дай Бог жизни бы тебе хватило на эти версты.

ТУМАН В ПЕСТЕРЕ

НЕБЫЛЬ

В нашей лесной деревне Оглаушихе — не то про Оглаушиху нашу не слышали? — ну, так вот: у нас такое случилось-приключилось, что кому ни скажи, не верят. А что уж тут не верить, коль я сам тому свидетель и могу доподлинно про то доложить.

Что случилось-то? А то и приключилось, что в Оглаушихе нашей черные коровы белым молоком задоились. Да это бы ладно, с грехом пополам при-выкли к белому. А сей год вовсе чудо чудное: петухи оглаушинские как сбесились — взяли моду по утрам голосить, деревню чуть свет будить! Спокон веку чирикали, а тут на тебе! Кому ни скажи, не верят...

А вы, небось, слышали, что в Оглаушихе нашей блоха кусочая завелась. Ну, чистая собака! Догонит — враз порвет! На цепь ее посадили, так воры нашу деревню за пять верст обходят, так-то вот. А ты мне толкуешь: блоха, мол, чепуха, лишь бы клоп не грыз.

Ну, это так, для сугреву души как бы. Дело-то, оно сурьезней.

В Оглаушихе у нас два брата были. Своими домами, своими умами жили. Уж и деток наплодили, хозяйством обзавелись — коровки у них, овечки. Ну, все как у людей.

Одного брата Евтихеем звали — ежели по-пачпортному, так натуральный он Тиша. Другому брату имя было Анфилофий, а коль по-нашенски, так он самый что ни есть Филя. А дружные-то братья были — слов нет! Сызмальства так и ходили друг у друга в охапке. В малые леты они, видишь, даже крестиками нательными менялись, как бы братчину крепили, зарок верности давали.

Годы прошли — заботы пришли. Возмужали братья, землю папсут, сено косят, за скотинкой ходят да пчелок водят. Известное дело, с медком-то ненароком и лапоть сжуешь, не заметишь. Словом сказать, от дел Тиша с Филей не лыняли, каждый свой выводок кормил-растил. А как же!

Лынять-то бы и не лыняли, а жили робята не очень, чтоб уж очень — лихва в карманах не заводилась. Правда, и семерых в один кафтан не стогняли — у каждого Антошки своя одежка.

Крестьянский неупокой известно какой: не успел с одним делом управиться, а еще пять чередой стоят, в спину подталкивают. Да все спехом надо, все тупоном. По осени Тиша с Филей все ж таки выбирались в тайгу-магушку на промысел — рябчика пострелять, тетерку попугать, глухаря повидать да ноги промять. У нас ведь, в Оглаушихе, всяк мужик охотник, ребятенки бесштаные, и те норвать клеста словить мамкам на супец. Добытчики!

А было у Тиши с Филей родовое охотничье угодье, от родителя-покойника им перешло. В угодье том у вилюйчатого таежного ручья избушка крепенькая имелась, можно в ней и неделю жить, и две, и сколь пожелаешь.

Братья ружья за спину, отправились на промысел. А год урожайный вы-

дался, птицы-зверя — что шишек на елке. Они по тропке всего-то ничего прошли, а уж Тиша из пицали своей рябка с высокой березы снял. Обрадовался, говорит: вот-де и супец будет, как на займку придем.

— Нам бы с тобой, — Филя ему в ответ, — нам рябчика бы этого Лешему подарить, батюшка-то завсегда так делал: первый добыток Хозяину жаловал. Не то, сказывал, разобидится, накажет сгоряча.

— Нет, — упрямится Тиша, — первого рябка не отдам — кто знает, как охота повернется. Первый в суп нам пойдет. Второго снимем, тогда и подарим Лешаку.

Шли они, шли тропой охотничьей, глядь, на елке еще рябчик сидит, на них глядит. Тиша на руку скор, ружьишко с плеча цоп, по птице — бабах! Отлетала, бедная, отклевала спелу ягодку.

— Ну, вторую-то беспременно Лешему пожаловать надо, — говорит Филя. — Суров бывает Хозяюшко, задобрить его надо.

Тиша в затылке чешет.

— Так-то оно так, — говорит, — но ить одного рябка нам с тобой только на зубок достанется: хрум — и нету. А из двух знатный супец сварганим, язык сглонешь! Давай, братец, Хозяину пожалуем, когда третьего подстрелим, ему-то какая разнища...

— Ох, — головой качает Филя, — не приведет к добру жадность твоя!

Тиша только посмеивается: ежели, говорит, про всех помнить, так и про себя позабудешь.

Дальше идут, глазами по веткам постреливают. Недалеко отошли — Тише снова рябчик чуть не на голову садится. Тиша страх какой проворный, он и тут не оплошал. Бабах! Вот и третью птицу в котомку сует, сам доволен — дальше некуда.

— Эй, братец! — Филя ему. — Уговор вроде был! Третьего рябка уж всяко Лешему надо пожаловать.

— Вот пристал с Лешим своим! — Тиша сердчает. — Неправильно это: добыл я, а слопают Лешак. Не то он родня мне?

Вздыхнул Филя, ничего не сказал. А чего скажешь, коль всех трех рябков Тиша добыл. Его добыток — его и воля.

Ну, добрались до избушки охотничьей. Ее еще родитель в годы свои спелые рубил. Растопили печку-каменку, котел над огнем повесили. А уж смеркаться стало, надо к ночи готовиться. Взял Филя топор, пилу, пошел за дровами. Вертается с охалкой поленьев, глядь, а в избушке медведь на полу сидит, благим матом ревет, лапищами когтистыми машет, как от пчел отбивается. Медведь ревет, а Тиши нигде нету. Не сробел Филя, ружье со стены сорвал.

— Ах ты, зверюга бесстыжая!

Да и саданул в него дробью от щедрой души!

Завыл косолапый, подхватился да как припустил в лес дремучий, только пятки засверкали, сучочки затрещали да ельничек запоохивал.

Сколь Филя ни звал, сколь ни искал братца своего, нигде нету, никто из лесу темного не отозвался. И утром не нашел его. Сожрал, стало быть, Тишу зверь ненасытный. Сожрал и рябчиками закусил, потому как и они пропали.

Загоревал Филя, про охоту и думать забыл, хоть и зверье кругом кишмя кишит. Затворил он избушку и понес в Оглаушиху весть страшную, беду неизбывную.

Поголосило Тишино семейство, погоревала вся его родня, поненяла страховидине людоедской, что мужика в наглую заломал да сглонул. А что ж потом делать? Горе-невзгодье, оно на то и есть, чтоб его перемочь да и дальше жить.

На другое лето под осень, когда Оглаушиха наша на полях отстрадовала, вырешил Филя денечек-другой отдохнуть от дел неуспокойных, работ костоломных. Надумал по брусничку сбегать. Было у него на примете тайное местечко — хоть лопатой бруснику ту гребти, ей все конца не видать. А иди-то надо аккурат по охотничьей тропе, по угодию родовому.

Ну, пошел Филя. За плечами у него пестерек берестяной, в нем краюшка хлеба да шматок сала. Навострился сперва избушку охотничью проведать,

зачевать в ней. С прошлого года там не был, с того самого дня, как братца Тишу медведь сожрал. Цела ли хоть заимка?

На полпути остановился передохнуть, бруснички-чернички пощипать. Щипал да в рот кидал, покуда не наелся. Раз да другой оглянулся на шумок — вроде веточки тихонько хрупали. А как снова обернулся, так и обмер: мишка косолапый по-за ельником густым подобрался, хватъ пестерь и наутек с ним, басурманин!

“Ну, дела! — думает сам себе Филя. — Что ж это за медведь такой глупый пошел — пустые пестери из-под носа ворует?”

Хоть смейся, хоть плачь, а пестеря нету, бруснику не во что собирать.

Решил-таки Филя до избушки своей дойти, чтоб уж не полным дурачиной домой ворочаться. Пришел, каменку растопил, из старых припасов хлебуку какую-никакую сварил. Похлебал вдосьть да и лег на топчанок спать-почивать.

А не спится ему. Лежит, сам себе думает: куда, мол, ни кинь, везде клин. Такая она, судьбина крестьянская. В хозяйстве и так скудно, а тут еще пестерь пропал. Тужишься, тужишься, а на вторую коровенку никак не наскрести.

Вздыхает Филя: “Богатым, небось, черти денежки куют, а нам чегой-то не дают...”

Утром чуть свет проснулся, прозевался, за дверь шагнул. Шагнул да и обомлел: у самого порога пестерь его стоит. Целехонек! Взял было за ремень, а поднять не может — будто камней в него наложили.

— Свят-свят! — Филя крестится. — Чур меня!

Открыл-таки пестерек. Открыл и ахнул: пестерь-то полон монет золотых! Так и сияют, так и переливаются! Богатство, прямо сказать, неслыханное.

Постоял Филя с разинутым ртом, проморгался от такого изумления. А как проморгался, так и приметил: сверху сокровища нежданного крестик лежит нательный. А крестик-то Тишин, братца его, медведем задранного! С братом-то они в ребячью пору крестиками обменивались, потому приметка эта безошная.

Тут Филя и смекнул, что к чему.

“Это ж он, Евтихеюшка наш в медвежьем обличье! Братец мой родный!”

Помыслил он этак, ладони лодочкой сложил и крикнул во всю мочь:

— Евтихе-ей!..

Только он этак крикнул — огонь в пестере пыхнул, прямо как из пушки саданул! Дым повалил, искры ажно до вершины сосны достали. Филя со страху так и лянул, где стоял. Не золото в пестере, а видимость туманная... Как дым разошелся, он и увидал: стоит над ним братец его Тиша, живой и невредимый, рот до ушей, светится весь.

— Ох, спасибо тебе, брат! — говорит, сам низко кланяется. — Спасибо, что узнал меня, не то бы век доживать мне в медвежьем состоянии. А все за жадность мою!

Рассказал брат Тиша, что Леший шибко осерчал на него за то, что он не пожаловал ему обещанного рябчика. Потому и обратил в зверя дикого, мишку косолапого. Заколдовал его, сквальгу, и зарок положил: тогда только в человечье обличье воротиться, когда тебя именем настоящим, именем полным позовут, Евтихеюшкой до бишь. Хорошо про крестик Тиша вспомнил, исхитрился и дал о себе знать.

Словом не сказать, какой счастливый был Тиша. Брату своему наказывает:

— Вот, братец мой родный, про что помнить нам с тобой надобно: страх как не любит Хозяин жадных людей, которым в лесу леса мало да которые из него загребом гребут. Таких он не прощает, по себе теперь знаю.

Как бы ни радостно спасенному Тише разговоры с братцем своим разговаривать, а ноги его так сами собой и побежали бы по тропе — до того по детшкам, по жене да по всей родне стосковался.

— Ну, брат мой милый, ты все ж таки без меня брусничку собирай. Вон пестерь твой, целехонек. А уж я побегу, не обессудь меня на том.

И стреканул по тропе, будто ветром подбитый — в Оглаушиху поскакал. А Филя порожний пестерек на плечо повесил и пошел на заветное брусничное местечко. Тоже рад-радехонек за брата своего Тишу. Прямо сказать, с того свету вернулся парень.

Быстро набрал Филя пестерь свой трехведерный, а брусницы будто и не убьло. Клад, а не место. Филя его никому не показывает — ни куму, ни свату, ни брату, пускай свои местечки выискивают.

Ну, управился, водички из ручейка испил да и отправился восвояси. Шел-шел, полдороги до дому одолел. Притомился ягодник, остановился передохнуть. Сидит на пенечке, снова думу думает. У крестьянина много всяких думок. И то ему надо, и тому срок подошел, и тут подправь, и то купи...

“Эх, — сам себе Филя думает, — были бы деньжата, я б вторую коровенку завел. А еще бы овечек прикупил. Да и бычка на откорм. Нет, лучше двух. Пяток свинок не помешал бы... Эх, где та кузня, где денежки куют да всем раздают?.. А еще бы я детишек придел, женке своей обновок накупил, чтобы подобрела, а то все ворчит да ворчит. Да я бы, будь у меня денежки, такие хоромы себе отгрохал — ай да ну!.. А может, в город уехать с деньгами-то? Там, говорят, любо-дорого жить, даже землю не надоть пахать... Только где та елка, на которой кошельки с червонцами растут?..”

Повздыхал Филя, черничку-брусничку с кустиков под ногами обобрал, в рот покидал. На пестерь глянул, вовсе опечалился:

“А ведь зря я Тишу-то признал — столько денег из-за него пропало! На все бы хватило — и на коровку, и на овечек, и на свинок...”

Повздыхал, пестерь с брусеной за спину закинул, дальше пошел.

Только кажется ему, что пестерек-то за спиной как бы шевелится. Будто он живым сделался, даже шумок из него непонятный идет, как бы шуршание. Обрадовался Филя: а ну как там бумажные денежки! Отчего бы не случиться еще одному чуду?

Поставил ношу на землю, открыл — батюшки! Полон пестерь червей! Белые, жирные, кишмя кишат, о стенки шуршат, аж пестерь ходуном ходит!

Испугался Филя, подхватился и ну бежать от страсти такой невиданной!

Прибегает домой, а во дворе детишки ревут, жена убивается, слезами заливается. Пеняет ему:

— Ходишь-бродишь по лесу, а у нас корова издохла!

— Как так?!

— А вот так: поди, сожрала что-то отравное.

— Когда издохла?!

— Да часу не прошло. Раздуло ее, будто гору, тут и конец бедной...

Такое вот случилось-разыгралось в Оглаушихе нашей. А ты мне толкуешь: блоха, мол, чепуха, лишь бы клоп не грыз...

ЛИСОНЬКИНА РАДОСТЬ

РАССКАЗ

Уж и потрещала зимушка морозцами лихими, покуролесила метелями-заметухами! А как срок ей вышел, тут и обмякла лиходейка, сосулями испатилаась, потом и вовсе подлюмилаась. Ночки коротеют, денечки длиннеют. Вот уж поля оголели, лесные полянки обеснежили. Рустополь занялась. А там, гляди-ка, и в ельниках-дерябниках сугробы поникли. Всякая зверюшка, козявка да пичужка солнышку радуется, шум-гам в округе стоит.

Лиса-модница натерпелась, бедная: в холода лютые чуть было хвост пушистый не отморозила, голодная в норе зимовала, дрожмя дрожала. Ну, дотерпелась до теплышка. Нынче выбралась на лесную опушку, встала на бу-

горочек, чтоб к солнышку поближе, сарафан расписной широким колоколом распустила, стоит себе, душу согревает, на белый свет зевает.

А заяц-то, заяц до чего теплу рад! Мечется по опушке, и так он подскачет, и этак он подпрыгнет, и через голову, озорник, кувыркнется! А то еще по звонкой валежине лапами побарабанит, ушами долгими похлопает. Скакал-танцевал, бес косой, да с размаху-то и вкачался в грязную лужу. Не как-нибудь, а в самую жижку зловонную! На сухое вылез — родная мать-зайчиха не узнает.

Лиса с буторка — хи-хи да ха-ха! Потешается над зайцем. “Ты, — говорит, — не токмо что кос, но и лопоух! О-хо-хо!..”

Что делать? Заяц штаны да рубашонку в ручейке сполоснул, на молодой травке разложил, сидит, срамник беспштаный, ждет, когда одежда просохнет.

В то самое время похаживала-погуливала по лесу комиссия звериная, компания чудная — волк зубастый да бобер лопастый, дятел носатый да бурундук полосатый, мышка-норушка, сорока-стрекотушка да приبلудная лягушка. Для пущей важности еще и тетерю Терентия в комиссию кликнули. Косолапов Михал Михалыч, как водится, наибольший там — верховодит, стало быть, в комиссии.

Идет по лесу ватажка знатная, дела весенние проверяет: хорошо ли снега тают, ладно ли ручейки журчат, дружно ли травка пробивается, громко ли почки лопаются. А главное дело, смотрят да прикидывают, кто больше всех весне радуется. Как решат, тому и награду лесную — грамотку берестяную.

Ходила-бродила комиссия по лесу, все бы ладно, все бы хорошо, а самого радостного зверя никак не выберут. И тот весело прыгает, и тот радостно скачет, и этот порхает — от восторга душа замирает.

— На опушке-то мы ишшо и не бывали, — Михал Михалыч говорит.

Пошла комиссия знатная на опушку.

А заяц-то беспштаный как прослышал, что из лесу вот-вот комиссия нагрянет, испугался, заметался: где бедному схорониться, чтоб не осрамиться? А спрятаться-то и негде — в лес бежать поздно, а кругом чисто поле, одна только лисонька в сарафане на горушке под солнышком млеет. Сарафан пышный, ну, чистый шатер! Заяц и ну просить:

— Лисица, душа-девица, упрячь меня в шатре сарафаном! Не то стыда не оберусь, как без штанов меня застучают.

Лисонька над ним — хи-хи да ха-ха!

— А ты не токмо что лопоух да косоват, — смеется, — ты еще и трусоват! Да уж ладно, оголец беспштаный, выручу тебя.

Лиса лапкой подол приподняла, заяц шмыг туда!

Вот выходит из лесу комиссия звериная, компания чудная. Глядь, на пригорке лиса в пышном сарафане стоит и до того радуется, аж обмирает от восторга. Мило-дорого на ликованье ее глядеть.

— Ой, хорошо! Ой, славно-то как! Ох, не могу!..

— Во! — ткнул лапой Михал Михалыч Косолапов. — Во кто всех лучше весне радуется!

— У-у! — согласился волк зубастый.

— Буль-буль! — подтвердил бобер лопастый.

Дятел носатый да бурундук полосатый не перечили. Мышка-норушка, сорока-стрекотушка и приبلудная лягушка тоже согласны. Даже тетеря Терентий выступил вперед и сказал:

— Ко-ко!

А лиса на пригорочке ажно заходится:

— Ой, как хорошо-то! Ох, помру!..

Ей, стало быть, и вручили награду лесную — грамоту берестяную. Ну, как говорится, по заслугам и честь.

Все бы ничего, только по лесу слушок прокатился: косой-де похвалялся, будто настоящая награда все ж таки ему досталась. Да кто ж ему, похвальбишке, поверит?